

Вдруг я понял, где развеют мой прах. Вот здесь, на холме на берегу Волги. Я увидел отчетливо, как взрослый сын приезжает, хлопает дверцей машины, взбирается по вязкому песку, открывает урну и...

Какая дурная глупая фантазия. Зачем думать о смерти, когда еще жить да жить? Вдруг мне стало стыдно, я показался себе пошляком. А смерть будущая, неизвестная, таинственная представилась слишком пугающей и величественной, чтобы думать о каких-то банках с прахом.

Тут, на берегу Волги, смерти не было, а была – жизнь: пахнущая тиной и рыбой вода, шелчки мальков по воде, шуршание трав, живительный ветерок, обвивающий шелковыми лентами лицо, руки, ноги. Верхушки сосен, птицы, небо и словно парящая над водой нетвердая земля волнистого берега. Пространство вокруг было пропитано, насыщено жизнью.

Но разве не правильно всегда помнить о ней? О той, другой. Чувствовать себя живым – не значит ли чувствовать себя конечным? И не бояться конца, который наступит когда-нибудь? Когда угодно, только не сейчас.

Вновь я подумал об урне, о прахе, и забавляло – вот сейчас *ты* здесь стоишь, сам, живой, дышащий, плотный, мясной, а потом на поверхность воды опустишься *ты же* – в виде пепла. Кстати, каким он будет? Серым седым или черно-серым, легким или тяжелым, землистым?.. И вдруг я увидел пепел

в горсти, мелкий, невесомый, пачкающий руки, превращающийся от влаги в мажущую грязь.

Слушай! Да ну тебя! Ну что за мысли, что за настрой! Не хочешь по-нормальному – айда в машину, поехали домой ужин делать!

Нельзя так. Ты приехал на свидание со святыней. Со своим богом, берегом, рекой. В святые места. Приехал на поклон.

Я знал, что к богу нужно приезжать готовым. Даже если идол твой – берег Волги, куда ты приезжаешь тридцать лет подряд. Ты можешь приехать задерганным, суетливым, быстроглазым, в невидимом облаке вьющегося вокруг твоей головы городского гнуса – тревог, забот, рабочих сложностей, семейных проблем. Выйдешь из машины деловито или нарочито развязно, хлопнешь дверцей сильнее, чем нужно, подойдешь к кромке воды бодрой походкой, смирешь взглядом распластанную у ног древним динозавром реку – мол, привет, родная, привет, ну, как дела, а вот и я, себя принес, со всеми своими бедами и болями... Прозвучит это неискренне. И река в ответ промолчит.

Не *тем* приехал. Приезжать надо другим. Мягким, податливым. Принимающим. Пустым. Чтобы место было внутри. Чтобы там ничего, кроме покоя. Посидеть, подождать, не торопиться – и в это ожидание, в эту готовность придет она, река, как будто вернется душа твоя, которую ты здесь давным-давно

оставил – словно щенка привязал у дерева, когда однажды несмышленым подростком впервые пришел сюда.

А ты про банки с пеплом. Какой дурень.

Но трудно, трудно сразу, с пылу, с городского жару сюда приехать. Непросто краткому человеку подстроиться под вечную реку.

Я стоял на берегу долго, как лермонтовский герой на утесе, то думал, то – что всегда лучше – отключался и стоял без единой мысли, только слушал шорох ветра в ушах. Жмурился от свежего весеннего солнышка, на ветру легкого и ласкового, в безветрии напористо припекающего, ловил взглядом птиц, что качались на невидимых небесных качелях размашисто – туда-сюда. Интересно, когда десять тысяч лет назад древние люди здесь выходили к реке, они так же стояли первые минуты, ни о чем не думая, не стараясь сразу запрыгнуть в свои долбленки, чтобы плыть добывать обильную в те времена рыбу, пушнину на островах или утку? Стояли, молчали, слушали реку и ветер... Потом что-то кричали детям, бросившимся к воде, звали замешкавшихся у лошадей жен. Так же, наверное.

Река наконец заговорила со мной. Тишиной глубокой, прозрачной, проникновенной. Речь эту знает только вода. Я то вглядывался в даль, где Волга становилась темно-синей, мерцающей мельчайшей рыбьей чешуей бликов, то опускал взгляд и в нескольких метрах от берега пытался рассмотреть песчаное желто-зеленое дно под толстой линзой беспокойного мелководья.

Ничто ни на миг в природе не умолкало, не останавливалось, не было ни единой паузы в бесконечной какофонии звуков и событий: вот лягушонок под ногами шлепнул, тут же с шумом взрыл воду окунь у травки недалеко от берега, в небе гнутыми ножницами рассекали воздух бешеные стрижи, откуда-то издалека ветер принес еле различимый хлопок охотничьего выстрела, и тут же впереди, в ясном пространстве между рекой и небом, я вдруг заметил почти бесшумно, но крепко, упруго, как стрела, летящую длинношею утку – шея и туловище застыли, а небольшие крылышки невидимо хлопчут вокруг. Три секунды – и нет утки, и припекает солнце, и нагретый воздух поднимается от земли и разносит по окрестностям многослойный треск цикад.

Вдруг я увидел себя глазами реки и неба: как стою в курточке, одинокий, взрослый, мятый, с кривой полуулыбкой, как будто меня разжалобили, а лучше сказать – разжаловали, причем только что. Я хорошо помнил себя на этом берегу и ребенком,

и подростком, и юношей. Теперь я мужчина. Давно не найвиный, битый, искушенный, сам научившийся, но – это происходит так быстро – кусать уставший. Крошечный человечек стоял и смотрел на себя сверху, направив на землю перевернутый телескоп.

Что в моей душе осталось чистого, лучшего? А вот же, все здесь. Этот берег, река, деревня. Только что Волга вернула тебе – тебя же, сохранив главное в чистоте и нетронутости.

Ну, здравствуй.

В тот приезд мне было сорок два. Иногда мне казалось, что я в этой деревне вырос, так сильно сюда тянуло. Но нет, я был обычный городской парень, мама учительница, папа инженер. На излете советских времен в 1989-м отец купил деревенский дом, вот этот, с покосившейся завалинкой, серый, выцветший, с темно-рыжей загоревшей на солнце обшивкой на правом боку, с бурями карнизами, с остатками синей краски на резных облупившихся наличниках. Тогда дом стоил три с половиной тысячи рублей – ровно столько стоил компактный *непьющий* (были и такие) видеоплеер «Панасоник», привезенный отцом из командировки в одну из, как тогда говорили, «капстран». Покупать жилые дома в СССР было нельзя. В стране, занимавшей шестую часть суши, отсутствовало право собственности. Но папа – строитель, начальник УПТК, снабженец, которого знали инженеры-строители по всей Горьковской области. Они и нашли ему домик для редких поездок на отдых с двумя маленькими детьми, со мной и братом Артемом. В одной из деревень Лысковского района дом своего отца, отбывшего в Царствие Небесное местного батюшки, продавала колхозная бригадириша Полина Покатина, баба сухая, жареная, беззубая, злая. В папке с новым свидетельством о собственности до сих пор лежит желтая ветхая, исписанная перьевой ручкой справка с нехитрой крестьянской подписью – привет из эпохи коллективизации и трудодней.

В детстве нас привозили сюда каждое лето; ожидание, всю весну предвкушение, сборы, и вот – три месяца напролет, до одури, до лоскутьев кожи на обгоревших плечах, до деревенского говорка, подражающего говору местных, до грязной коросты на пятках (раз в неделю баня, никакого душа!), до полного одичания – такого, что возвращались в город и имен своих не помнили, от машин шаркались. А однажды я, прожив в деревне лето после окончания института, приехал в сентябре в город, намешал сладкого чаю, включил телевизор в родительской комнате, чтобы посмотреть в непривыч-

но ярко мельтешашее окошко, что в мире делается, и увидел, как в металлические палочки небоскребов врезаются черные мухи самолетов. Конечно, я подумал, что это кино, комбинированные съемки, но когда башни-близнецы, как губки, вбирая в себя самолет за самолетом, начали медленно оседать и быстро рушиться, мой мир как будто споткнулся. Из страны деревенских чудес я резко переместился в нереальность мирового кошмара и с непривычки потерял середину, норму.

Молочко парное, пенистое, а бывало, когда деревенские были живы, и топленое из печи, с хрустящей тонкой перепонкой в горлышке крынки, хлеб из краснокирпичной колхозной пекарни, потом разрушенной, конечно же, бесконечные картошка, огурцы, помидоры, укроп, чеснок, морковь, лук, кабачки, тыква («тебека»), свекла («бурак» – «Бурак ат нужен вам аль нет? У матери-то поди спроси!») – все дармовое, местными заботливо принесенное, а еще шершавые увесистые подсолнухи с полей, толстая, с жирной спиной, рыба с реки, армия грибов со светлыми култыпками, посеченная и взятая в плен в лесу, а еще душные, пропахшие соломой, пылью и маслом мопеды пацанов, первые поцелуи и объятия с такими же приехавшими на каникулы городскими девчонками, мысли о которых до сих пор мешаются с воспоминаниями о свежей, пахучей, влажной от росы землянике, с дрожащими липкими березовыми листочками ранней весной, а еще, а еще... А еще тетя Валя («Валька-Звезда») снова пьет и поет, дядя Петя уголовник пьет и бьет сожительницу Катьку, а еще тощие умученные лошаденки, рыбацкие мотоциклы с люльками и мятыми бензобаками, обшарпанные трактора, огромные, как дома, комбайны, натужно и деловито ползущие по таким широким полям, что взглядом не перемахнуть, а еще вездесущий с брезентовым тентом «козлик» председателя, кривые трехлапые собаки, волками покаленные, бобер на озере Шелковом, которого сын председателя Вовка Молочков изловил да на шапку зимнюю извел, а еще Ватага на выходе залива к Волге, где, по преданию, Стенька Разин со своей бандой станом стоял, а еще цапли – куда без них! – толстые серые фюзеляжи на тонкой красной с одним узелком ножке, стояли ровно, недвижимо, но при приближении человека или лодки – неспешно раскладывались, раздвигая огромные крылья, приседали, тяжело прыгали и вдруг волшебным образом превращались в прекрасные аэропланы, готовые, судя по размерам величественных крыльев и ловко и горделиво сложенным шеям, лететь тот же час на другой конец света через Атлантику.

В последние пару десятилетий я приезжал в деревню, несмотря на любовь к этим краям, нечасто. Старался раз-два в сезон точно. Но были годы, когда не доезжал совсем. Сейчас удобно совпало – новой работы пока нет, а прежде заработанные деньги еще остались. В личной жизни тоже перерыв, скучать по мне особенно некому. Значит, можно отдохнуть несколько дней, неделку.

Задно и дом бабы Маши посмотреть. Подумать.

О том, что соседний дом продается, я узнал случайно, соседка напротив проболталась. Хозяйева даже объявление выложить на «Авито» не успели, как я нашел их телефон и позвонил – цена оказалась хорошей. Недорого. За целый-то дом. Полцены самой дешевой, из пластика и тонкого китайского металла, дамской малолитражки, собранной где-нибудь в Тульской области. Половинка плохонькой иномарки, с первого года начинающей гнить. И просторный крепкий жилой деревенский дом, которого на два поколения хватило, еще на три хватит, в котором зимой можно печь протопить и три дня в тридцатиградусный мороз в рубахе потом обливаться. Дом – организм, где и пища растет – и огород, и скотина, и запасы хранятся, и вода добывается, и греет он себя сам; где и мыться, и готовить, и детей растить, дом – это, как бы сейчас сказали, экосистема, деревянная крепость, способная существовать автономно от внешнего мира. Для крестьянина в доме вся жизнь, целиком. Но у меня уже есть дом, зачем мне еще один? Тем более приезжаю нечасто.

Это конечно. Это понятно. Но это дом. Бабы Маши дом. Соседский. Продается. Когда соседи продают дом – большая удача. Это же не просто строение, это земля, которую можно прирезать к своему участку. Здесь, в деревне, такой шанс выпадает один раз в сто лет.

– Баб Маш, можно я куплю твой дом? Как ты посмотришь на это? Я чтобы сохранить, сберечь куплю, дом, который помнит тебя. А, баб Маш...

Вечером я вышел прогуляться, но так и стоял, пока не стемнело, напротив своей избы, смотрел с дороги на соседский дом под ярким фонарем, высвечивающим только его часть, – настолько он был огромным.

– Знала бы ты, что вот этот соседский пацан... Как бы ты отнеслась? Как ты отнесешься?

Три окна на фасаде, одно сбоку сразу за углом, еще одно ближе к сеням, крыша крыта серым волнистым шифером, наличники белые с синим, широкая и основательная, засыпанная землей, завалинка... Прямой, узкий, высоко поставленный, с крутыми

скатами, классический русский дом средней половы. Гордый, как сторожевая башня человека в суровом нечерноземье. Сухой. Одинокий.

Казалось, не так высоко стоял, как в детстве, не так горделиво, как когда мне было четырнадцать, но дом не сдутил, не сдался – хоть было ему не меньше восьмидесяти лет, баба Маша с дедом Кузьмой строили его молодыми. Когда дерево было упругим, а давно облезшая бледная краска обшивки сочной, ярко-голубой, как апрельское небо или глаза юной девушки.

Даже зарастающий бурьяном со всех сторон, выглядывающий из-за набитого грубой крапивой палисадника, с подгнившим столбиком – упавшей на одно колено оградой, дом не выглядел ни жалким, ни сиротливым. Как будто потерявший и родителей, и хозяев, дом был доволен и полон своим прошлым, своей историей. Ждал, конечно, новых жильцов, тепла внутри, ухода снаружи, ремонта ждал, но виду не подавал.

– Куплю тебя, а ухаживать не будет ни сил, ни времени... Что тогда баба Маша скажет? А? Ну, что ты на меня смотришь?

Хозяева, что продавали дом бабы Маши, были совсем чужие, не то что деревне, но и краю – они были москвичи. Смысла ездить отдыхать в русскую глубинку кормежкой комарам за шестьсот километров, да через Нижний Новгород, и треть пути по узкой, извилистой, в крестах, как в орденах, дороге было немного. Разве что романтика, но она быстро кончилась. Или позарились жители столицы на добротный деревенский дом, отремонтированный, ухоженный, со всеми печками-банными-насосами-туалетами-душами, а потом поняли, что русская экзотика – это не только молочко да медок у тети Тани на соседнем порядке, яички с желтками ядовитого от натуральности цвета у тети Любы, а еще и время, бензин, насекомые, сырость, жара, и если ремонт, то вечный ремонт, если приехать зимой, то снежные заносы выше роста, а если летом, то встретит тебя у дома трава высокая, колючая, настырная, как монгольское войско.

Дом после Сереги, прежнего владельца бабы-Машиного хозяйства, остался, наверное, в лучшем виде за всю свою историю, и вряд ли будет у него еще такое счастливое времечко. Серега и порушил, конечно, много, но превратил патриархальный крестьянский дом в продвинутое хозяйство.

Серега – классический типаж русского мастерового, по профессии слесарь-водопроводчик, всю жизнь проработавший на водонапорной станции

Водоканала, высокий, поджарый, ловкий, хитрый. Руками он умел буквально все, а чего не умел – с луты учился и тут же умел. И характер под стать рукодельному инженерному таланту – заносчивый и своенравный.

Покупка дома в деревне была для Сереги важным этапом десятилетиями продумываемой стратегии, воплощением давно выпестованной мечты. Это было для него как обряд инициации для древнего человека, ритуал перехода в другой мир, и миром этим для Сереги был дом в деревне Великовское. Он годами копил, ездил, искал, выбирал, при осмотре выворачивал избу наизнанку, щупал крепкими коричневыми пальцами с толстыми кривыми ногтями каждую досочку, крышу с чердака на предмет дырочек в солнечную погоду просматривал, кирпичи костяшками простукивал, чиркал ножиком цемент в кладке фундамента, в общем, мучил продавцов-хозяев как мог. Дом Серега покупал, чтобы выйти на пенсию и переехать из городской квартиры в деревню жить насовсем, он готовился к перемене судьбы тщательно и упорно и, кажется, ради этой цели даже врачам чаще показывался и за собой ухаживал – за крепким костистым телом, похожим на прочно сколоченную постройку из темно-золотистой сосны, и это сильно бросалось в глаза, так как нашим мужикам несвойственно.

Мастеровитость Серегиных рук сразу после покупки покрыла неутомимыми трудами, словно плотной пеленой, подзапущенное баб-Машино хозяйство. Он как паук выходные напролет ткал вокруг дома невидимую паутину заботы и работы, только загорелые, пахнущие потом, землей и металлом руки мелькали вечным двигателем дел. Тут прибить, там переставить, здесь подкопать, перевязать, утрамбовать, выбросить, а то и растворчику подмешать, фундамент залатать, крышу зашить, стекло поменять, досочка в крылечке разболталась, крючок в дужку не попадает, бак подтекает, а еще сетку от комаров сменить, наличник подкрасить, убрать-прибраться, крыс потравить, грядки разметить, чтобы в следующий раз разбить, траву покосить, ветки подрезать, да посидеть наконец покурить отдохнуть, с прищуром глядя на березовую гряду за поселком на холме у озера. И заметить заодно, что лавочка разболталась. Серега приезжал в деревню как на вахту, двое суток от звонка до звонка, со стороны это выглядело как нечто среднее между покорной солдатской повинностью и стойким подвижничеством святого.

Купив у тети Нади, дочери умершей бабы Маши, еще живой, теплый, то есть регулярно протапливаем-

мый дом, городской Серега, конечно, многолетние запасы зерна да круп из холщовых мешков высыпал, подгнивший ледник в погребке обвалил, бочки самодельные под обручами коваными разобрал, сви-нарник попилил на дрова, коровник оборудовал под мастерскую. Дому как будто нравилось, что полете-ла пыль, труха и заскорузлая грязь изо всех щелей, и он, как в юности, как свежестроенный, запа́х маслянистой древесной стружкой, заблестел новым жестяным козырьком крыльца, но при этом, кажется, недоумевал в новой роли: как жить без хлопотливой хозяйки, без тяжело дышащей пахучей коровы, по-блескивающей мокрой мордой в темноте двора, без тягучего горячего хлебного духа из печи трижды в неделю?

Ловкий Серега устроил житье по-своему: и трубу вывел – баньку белую организовал, и душ с баком на четырех железных столбах поставил, и обустроил в бывшем коровнике гараж для своего уазика-«буханки», на которой летал до города и никогда, даже если слезно просили, не брал попутчиков.

Обновленный дом стал удобным, без тесных отживших свое остатков прежней цивилизации: постирочных, кладовок, сушилок, зимнего хлева в сенях, чтобы телят-поросят не поморозить, зато появился новенький, белоснежный – как от испуга в новой обстановке – высокий холодильник; во дворе и во-круг дома стало чисто, просторно и понятно – тут огород, там мастерская, здесь въезд и автомобиль, это умывальник, а это баночка для окурков и уже крепко вкопанная лавочка, под которой не зарас-тала круглая земляная проплешина.

Нет, Серега не строил холостяцкое убежище, готовясь к одинокой старости. Сокровенной его мечтой было жить здесь с новой женой Мариной из Работок, к которой вот уже два года он гонял на «буханке» втайне от городской супруги, с которой жить-то в одной квартире жили, но давно исчезла между ними и душевная, и телесная близость. Впро-чем, мама моя, когда приезжали в деревню вместе, копясь целыми днями на огороде и невольно на-блюдая за передвижениями Сереги за забором, ти-хонько посмеивалась:

- Так ведь это не Марина у него сегодня!
- Ого! Да ладно! А кто? – удивлялся я.
- Не знаю, не знакомит! И это уже третью с май-ских я насчитала!
- Да у нас тут гигант поселился! – И мы негромко смеялись.

По мере того, как близилась пенсия и окон-чательный переезд Сереги в деревню, он странно отдалялся от соседей и односельчан, замыкаясь

в хозяйстве, не выходя за пределы своих владений, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Мы реже общались, иногда даже не здоровались, хотя по ту сторону ограды то и дело раздавались музыка, смех, женские довольные повизгивания, мелодич-ный баритон хозяина. Постоянно дымок из печной трубы, часто банные благовония, а то и дурманя-щий запах жарящегося мяса, предварительно хоро-шо промаринованного с лучком. Хоть бы раз меня на шашлык пригласил! Нет ведь. Только на рассвете понедельника из деревни пулей вылетала «бухан-ка», чтобы вернуться, будто сделав круг по объезд-ной размером с область, в пятницу вечером.

Пенсионером Серега стал и торжественно рас-сказал об этом всей деревне, за него радовались, поздравляли, он расчувствовался, даже с мужиками у магазина раздавил шкалик-другой. Однако новую жизнь Серега начать не успел. Через пару месяцев после выхода на пенсию диагностировали у бывше-го водопроводчика рак легких, который сжег его крепкое сухое тело меньше чем за год. Я видел Се-регу в деревне в последний раз нервного, обильно потеющего; он был напряжен, кивнул мне и заперся в доме, но вечером уехал. К родным, в город. Там и похоронили где-нибудь на безразмерном сормов-ском кладбище. Бабы-Машино хозяйство снова осиротело, в первое же лето палисадник зарос, оше-тинился сорняком, осенью под проливными дождями козырек крылечка поблек, заскрипела на ветру плохо закрытая рама, и дом продолжил одинокую молчаливую битву со временем.

Приезжая после долгого перерыва, я первым де-лом отправлялся к Волге, а на следующий день шел гулять по деревне. В этот раз потянуло на местное кладбище. Спрятал деньги за хлипкую половую до-сочку, так как замки в доме были скорее видимо-стью, прикрыл калитку, вышел на дорогу. Дом бабы Маши смотрел без ночной грозной таинственности, по-дневному слепо и равнодушно – от палящего солнца и пронизывающих дождей древесина стала цвета ненастного алюминиевого неба. Мне стало весело, я захотел ему подмигнуть – старик дом хоть и выцвел лицом, но был все еще крепок, стоек, суров.

До кладбища идти километра полтора-два. Бес-хитростные сельские могилки за покосившимися заборчиками рассыпаны по желтым песчаным про-плешинам продолговатого холма, что возвышал-ся над заливом и был похож на огромный фрегат, а вместо мачты торчала деревянная колокольня старинной полуразрушенной церкви семнадцато-

го века. Спустя некоторое время построенную без единого гвоздя церковь снесли – крыша прогнила и провалилась окончательно, свесив внутрь храма полусгнившие резные деревянные главки.

Там, на кладбище, было тепло, светло, пусть и ветрено, а из-за чистого песка и речных запахов как-то настолько по-пляжному, что совсем-совсем не было страшно и оттого особенно неуютно – все-таки кресты, венки, могилы. Мне казалось, что на этом кладбище лежат все, кого я знал в детстве и кого не досчитался, когда вырос, хотя найти я там мог разве что холмик бабы Маши. Я помнил ее имя и каким-то чудом фамилию.

Когда поднимался на кладбищенскую гору, на которой мертвых, как на ладони, подносили небу, думал, что найду могилку бабушки быстро, ведь погост небольшой. Но побродив час-другой, сбив глаза бесконечными именами и фамилиями, впившимися ножками цифр в таблички, я вдруг понял, что эта застывшая смертная стихия гораздо сильнее, чем мне казалось. Здесь люди существовали не по одному, тут не было каждого, тут были все, массой, хором, и вытащить одного было невозможно, как вытащить ребенка из густой плотно сомкнутой толпы.

– Баб Маш! А, баб Маш... Дай хоть знак какой! – шел и усмехался я.

Под ногами пружинил песок, вдалеке торчал рогом древнего чудовища остов колокольни, внизу серебрился залив.

Баба Маша была, как все деревенские, столь же набожная, сколь суеверная, в ее доме христианские обряды и иконы неразделимо сплетались с необъяснимыми причудливыми обычаями, вроде того, с какой ноги заходить в избу или нельзя топить печь в определенные дни после такого-то часу («бог не велит»). Интересно, сколько этому соседству магии и религии лет – тысяча? больше?

Наверное, поэтому мне казалось возможным и даже правильным вот так запросто обращаться к духу бабушки на кладбище, который, конечно же, где-то здесь обитал – птичкой, веточкой, шумными на ветру замшево-серебристыми листьями. Странно, но здесь мне стало легко, свободно, и хотелось радоваться, и даже не было неловко за приподнятое настроение.

Я спустился, зашагал обратно и только дивился, как так целая улица тянется под холмом, и могилки с памятниками да крестами, осторожно спускаясь со склона, заглядывают в окна домов. Живые и мертвые живут бок о бок и не боятся. По ночам сидят на завалинках, курят, спорят о чем-то местные му-

жики, и их матерок отражается от звонких сухих крестов, прячущихся в темноте напротив.

Бабу Машу я не нашел, и она упрочила свое положение мифа, легенды моего детства. Подходя к своей улице, я достал телефон и зачем-то просмотрел в ватсапе переписку с московской хозяйкой бабы-Машиного дома. Официозное до неловкости общение, сухие цифры, короткий диалог на тему «сбросить цену» и «дешевле некуда», который зачем-то я затеял... Про этих хозяев было ощущение, будто случайные люди нашли уникальную вещь, старинную шкатулку, но не знали, куда ее приспособить, и только хотели сбыть поскорее, а я старался ее выкупить, но при этом не выдать ценности.

– Баб Маш... купить дом аль нет? Но зачем мне дом? Детская блажь... Дала бы ты знак, бабушка. Что тебе, трудно, что ли?

Набил «Школьными» конфетами полный рот, устроив внутри горячее липкое месиво. Разминал сладкий тягучий цемент, причмокивал. Изредка дул на янтарную поверхность чая. Потом, когда чай подостыл, я пустил на онемевшие от сладости десны горячий глоток.

Услышал в светлице за стенкой кухонки деревянный стук. Баба Маша что-то искала по своим глубоким кованым сундукам. Я опустил взгляд от бокового окна, где трепетали на ветру зеленым муравейником листья густых тополей, растущих между нашими домами, и на столе заметил желтую полоску под круглой коричневой подставкой, на которой стоял высокий медный самовар. Полоска цвета мокрого песка оказалась газетой с толстыми свинцовыми буквами. Я сглотнул превращенную горячим чаем в сироп гущу и начал читать: «ЦК КПСС... XXII съезд... Кремлевский Дворец... Первоочередные задачи партии и правительства... Предложено рассмотреть... Необходимо постановить...» Читал я в четырнадцать лет хорошо. Но не понял ни слова. Подумал, может быть, в газете напечатан научно-фантастический рассказ... Но вдруг увидел год – 1961-й. Испуганно глянул в окно, где шумели девяностые.

Торопливое шарканье приблизилось сзади, тонкая худая рука с темной, пятнистой, истонченной до папиросной бумаги кожей поставила на стол еще один пакетик конфет – матовый, истертый, на донышке сыпанный сахар, а внутри – розовые подушечки. Каменные, будто из мрамора, повидло внутри от старости превратилось в бутылочное стекло. Я подумал, что конфеты как раз оттуда, где «необходимо постановить», «решение принято», а еще это, пугающее и насекомое, ЦК КПСС.

Я не очень хорошо помнил себя маленьким, в мягкой туманной тьме беспамятства утонули целые периоды, годы детства. Но кухонку за стеной светлицы, муравейники-тополя за окном, цилиндр живого самовара, старые газеты, руку бабушки помнил; все это, как фрагмент кукольного домика, как экспонат за стеклом музейной витрины, отчетливо высвечивалось ярким прожектором памяти. Я помнил не годы, не цепочку лет, а единое Лето Детства в деревне. То райское время, когда мир был простым и светлым, когда маленький человек себя уже осознает, но окружающее пространство еще не начало закручиваться в спирали проблем и обростать сложностями. Почему-то потом, когда я превратился в юношу, мне стало неловко ходить в гости к бабушке, чай гонять да конфеты трескать. Сколько тогда было бабе Маше? Однажды она проговорила внучке, жившей в городе и приехавшей всего раз на нашей памяти, что «Девяносто зим видела, нешто воды в чугуна не натаскаю!» – в ответ на заботливое возмущение, как бабка в лютый мороз по два ведра на коромысле по скользкой тропинке носит, однако точного возраста бабы Маши никто не знал, а паспорт, как говорила тетя Надя, врал безбожно. Разговоров о возрасте бабушка терпеть не могла, и когда дочь с соседками хотели ей день рождения устроить и торжественный стол собрать, громко сопротивлялась:

– Пошто? Пошто вы? На-ама то! На-ама чего надумали! Глупости! Не смехи! Не смехите народ-ат, доченьки! Не нать! Не нать мне ничего ентого! На-ама чтобы вас тут! На-а-ма...

Голос у бабки был громкий, сильный, чуть глуховатый, недаром в колхозе звеньевой и бригадиршей отслужила более полувека. Выговор был у нее своеобразный, исконный волжский. Такой сегодня не услышать. Интересно, как наши речи для бабы Маши звучали – наверное, как иностранные.

– Не турись! Не турись! На-ама тут! – кричала она мне маленькому, когда я то на велике мимо лавки, где сидела бабка, тащил длинную сухую ветку из леса, то лопатой размахивал в палисаднике целый день до свисающих с кончика носа мутных капель. – Не турись! На-ама тут! Чай, мал еще, а жаден как! Ишь ты! Карась! Жаден больно!

Я тряс головой, чтобы смахнуть пот, и – раз на меня смотрели – размахивал топором еще выше и чаще. Уже тогда я понимал, что «жадный до работы» в деревне – серьезная похвала.

Жили бок о бок. Годы спустя я понял, как много значит, когда соседские дома жилые и хозяева живы-здоровы. То звук топора донесется с сосед-

него участка, то деревянно крякнет тяжелая дверь баньки, загремят ведра, и под вечер нет-нет да и заметишь через ветви деревьев прямоугольный желток окна. Я ездил в магазин, ездил за молоком к тете Тане, ходил на болото за клюквой или грибами – подберезовики с длинной во мху водянистой ножкой, начнет мама жарить, так черный ароматный бульон до краев сковороды доходит. А возвращался, подъезжал к дому и, улыбаясь, радостно и громко здоровался – день напролет баба Маша сидела на лавочке, и когда ее не было, я даже расстраивался. Разгружу корзину велосипеда, отнесу в дом тяжелую ярко-белую банку утешного, из холодильника, молока, успевшего запотеть и пустить по стеклянным щекам струйки прозрачных слез, и выбегаю к бабе Маше посидеть. Завидев меня, она смешно открывала рот, махала рукой, отодвигалась на лавке, кивала, мол, посиди, отпыхни, набегался, чай, карась, пострел, вон вся рубашка взмокла! Поди, мамка тебя переоденет! Не то простынешь! Я улыбался, кивал, кричал, что мне хорошо, нормально, как раз проветрюсь – и ветерок приятно трепал рубашку и обдувал прохладой.

Бабушка сидела на лавке у дома в платочке, в неприметном сером халатике, в кофточке без рукавов, толстых носках и обрезанных валенках, как куколка, как личинка, как крошечный космонавт. На- столько маленькая, уютная и ладненькая, как будто ее в руках скатали, и хотелось само воспоминание о ней спрятать в ладонях, прикрыть, сохранить. Плотно завязанный на шее и подвернутый по бокам головы платок, так, чтобы скрыть волосы (а когда всего однажды платок сбился и я увидел седую слежавшуюся прядь, то резко отвернулся, словно тайную интимную подсмотрел, так неловко мне было). И лицо: как будто детская, с парой волосков, пятючка подбородка, шелка беззубого рта, как бывает у старушек – будто мешочек ниткой стянут, аккуратная просвирка носа и под уголками-складками бровей крохотные, но пронизательные искорки глаз. Присмотреться при свете – глаза у бабы Маши прозрачно-выцветшего небесного цвета, родниковые, ясные, вымытые временем до чистоты, с вечным выражением участия и заботы, выкованным тысячами поколений женщин.

Я садился рядом, срывал длинную полую травинку, мы начинали говорить. О чем «гуторить», как здесь называли, столетней бабке с наивным не карасем даже, а рыбным мальком, вчера только вылупившимся из икринки под корягой? Зато сколько было во мне чистой беспримесной и никогда больше не повторившейся радости жизни, которая, каза-

лось, выплескивалась и разливалась вокруг. Вчера еще школа, душный город, раскаленный под шлепанцами асфальт, а сегодня – свобода, простор, настоящий на травах воздух... и на все лето, а кажется, на всю жизнь – прохлада гулко толстостенного дома, нежная животная теплота парного молока, а ближе к вечеру – река, залив, пляж, понтон, купаться, плавать до изнеможения до самой ночи, а потом идти домой вымотанным под низким бархатным небом.

– В избе-то небось прохладно? Печь-ат не топили нонче? – спрашивала бабка деловито.

Я начинал отвечать, подробно, обстоятельно, как мальчики и старички умеют. Баба Маша была белой лысой палочкой по травяной кочке у тропинки и только кивала:

– На-ма-то... На-ама-то... На-ма-то...

Двигала беззубыми челюстями, чуть слышно причмокивая:

– На-ама-то...

И снова кивала. Бесконечно кивала.

Засыпая ночью, пропуская через уставшую голову, как шумный цветастый поезд, события прошедшего дня, я, поступивший через пять лет на филфак, посмеиваясь над бабкиным диалектом, догадывался, что присказка «нама-то» и ее вариации – это изначально, видимо, было «знаемо», «знакомо», то есть значило «ясно», «понятно», «известно что»...

Несмотря на то, что в детстве от переизбытка энергии я не мог ни минуты усидеть на месте, когда я был рядом с бабушкой, все внутри и вокруг менялось, не останавливалось, а оживало, но иначе, как будто дыхание мира становилось насыщенным и глубоким. Словно я попадал в особое магнитное поле, когда сидел рядом с бабой Машей под тенью клена, на лоснящейся доске лавки, где пахло древесной травой, пылью с дороги, а от бабушки – чистой тканью и еще – еле уловимо – запахом тела, похожим почему-то не на старческий, а на детский, младенческий запах. Я сидел, и на душе было чисто и светло, будто я находился в храме или в залитом светом пустом доме, окна которого вымыли до прозрачности. А еще меня прижимало что-то сверху и обнимало за плечи, и я был счастлив часами сидеть здесь – так под тяжелой периной в глубокой кровати засыпает набегающий за день ребенок. Мы говорили. Или молчали, и слуха касались шорохи насекомых в траве, пение птиц в бабушкином саду, писк высоко пролетающих ласточек.

Однажды вдалеке на тропинке мы увидели быстро идущую к нам тетю Надю – поджарую, крижистую, кривоногую дочь бабы Маши (тетями и бабами я их

называл все детство). Деловитая и резкая, вечно занятая – две коровы, свиньи, овцы, вечный сенокос, да еще в колхозе должность – она носилась по деревне, только крепкие загорелые голени из-под юбки сверкали.

Подлетев к нам так, что меня обдало теплым запахом поля, Надя улыбнулась мне беззубо, криво, и крикнула:

– Да что ты с ней балакаешь! Она ж не слышит ни бельмеса!

И закричала на всю деревню, обращаясь к бабке:

– Пойдем натру тебе! Бок-ат! Айда натру! – и еще громче, так, что, кажется, было слышно у залива: – Натру, говорю! Бо-ок! Идем! Вечером мне неколи будет! Ромашка у меня хворат! Айда в палати-то! – Крик звенел у меня в ушах, катился эхом между домами, и бабка тут же вскочила и, суетясь, бросилась к калитке.

Так я понял, что все наши прежние встречи баба Маша меня не слышала. С тех пор, «гуляя», я, уже не стесняясь, орал ей на ухо так, что глотку срывал. Особенно смешно и нелепо было кричать самые мелкие, незначительные реплики, необходимые в разговоре. О чем мы беседовали – знала вся округа.

– Я говорю, рыбы мамка у дядь Юры купила! – кричал я.

– Ага, ага...

– Рыбы! Мама! У дядь Юры! – Я энергично тыкал пальцем в сторону озера, затем ладонью показывал плывущую рыбку. – У дядь Юры «озерного»! Рыбу!

– Ма-а чтобы тея тута... Поняла, поняла... – кивала бабушка и махала в ту же сторону. – Рыбу! С озера! Поняла, поняла. Жарить? Али похлебки наварите?

– Жарить! Жарит уже!

– Ась? Кто?

– Мамка! Жарит! Жарит уже!

– И то дело! И то дело-о... – качала бабушка головой. – Ма-а чтобы тея тута... Больно хорошо на ужин-то... На-ама что надумала мамка-то у тея, молодец, нешта... У кого брали-то? Ай сам наловил?

– Так у Юры! Юрий Ваньч, «озерный»!

– На озере, на озере, поняла, поняла... Ма-а чтобы тея тута...

– Озерный! Юрь Ваньч, баб Маш!

– А-а-а... Поняла, поняла, – все равно не слышала бабка. – Ма-а чтобы тея тута... Трудов мамке задали, ну да больно хорошо, рыбкой попотчует...

Я кричал, кивал, изображал, размахивал руками, включая все доступные мне средства мимики и же-



стикуляции. Бабушка сидела рядом, живая, близкая, в платке и халатике, но пробиться к ней было трудно, как докричаться до другого берега Волги в половодье, и я то отчаивался, то начинал снова.

Четверть века нет бабы Маши в соседском доме. И тети Нади нет. А дом третий хозяин продает. Он так крепко срублен, что двести лет простоит. А то и больше. За первую сотню не то что не накренился – ни единой досточки из карниза не выпало. Стоит дом гордо, прямо, остро, как гребешок молодого петушка, и все ему нипочем. Палит и прокаляет его солнце, пронизывает и хлещет по бокам дождь с ветром, вьются вокруг него, как руки гончара вокруг сосуда, жесткие наждаки зимних выюг, до последней клеточки пропитывают мертвящим холодом его фундамент лютые братья январь и февраль. Настоящие пытки, от которых не убережешь, не спаси. Но самый древний материал на свете терпит, не сдается. Дерево не ржавеет, как металл, дерево не крошится, как бетон, не покрывается слизью, как пластик, от влаги оно расширяется, от жары сжимается – даже мертвое пульсирует и дышит дерево.

Стою я ночью напротив своего дома, смотрю наискосок на соседский бабкин, вспоминаю, черпаю из памяти, шарю по сусекам, пытаюсь вытащить все, что осталось от давно исчезнувшей с земли бабки, стирающейся из памяти мира, покидающей, как последний форпост, и мою память. Словно за руку из черной воды тяну бабу Машу, идет тяжело – старенькая, сил уже нет, руки слабы, ноги не держат, но я не отпускаю. Ощупываю углы, скребу по дну, достаю, как фокусник из черного ящика, сцены, кадры, взгляды, интонации, обломки вещей, обрывки взглядов, ощущений, минут. Нечаянно обнаруживаю и, как старого усатого сома со дна, вытаскиваю на свет баб-Машиного мужа – деда Кузьму (вот так, без отчества) – его, столетнего пращура на десять лет древнее бабки, мы, купив дом, едва застали.

Высоченный, худой, узловатый, седой, похожий на отшлифованную ветрами в поле до серебра корягу. По фигуре Кузьмы была видна старинная мощь, по крупным суставам, толстой кости, осанке, каменной походке – казалось, из него только на время откачали силу, приспустили давление в мышцах, забрали гудящую плотность, кровь и сталь богатырского тела.

Обтянутый белесой, будто выгоревшей кожей костистый лоб. Глаза со скошенными вниз бровями, всегда печальные. Борода – мужицкая суть и достоинство на селе – уже редющий, раздвоенный, но издали все еще богатырский меч-кладенец, он был бы

монолитный, если б не торчащие по бокам непокорным веером седые клочья. Брови валенные, густые, будто раз и навсегда огнем опаленные и от жара прикипевшие. Дед Кузьма – кузнец, некогда первый во всем районе, именитый, уважаемый. Председатель колхоза никогда не отправлял ему нарядов на ремонт или изготовление на конторских бланках, даже бухгалтера не посылал, а приезжал на легучем «козлике» сам, лично. Только, пожимая кузнецу руку, ее надо было успеть отдернуть. Поговорка про гнутые руками подковы тут была слабовата: его руки, задеревеневшие от мозолей, страшные, черные, прокаленные, сами были подковы.

Конечно, дед Кузьма был охотник и рыбак. Как с рогатиной на медведя ходил, не рассказывал, а вот сомов – усатых чудищ – из Волги тягал. И про лещей, которых называл «лаптями», рассказывал, что на две рыбины одного ведра только и хватало, настолько толстые и широкие здесь водились. А еще вспоминал я дедовы байки, как мужики забрасывали на глубину Волги тяжелые донки по двадцать крючков, а веревки к ноге привязывали и потом ждали клева, валялись на берегу, кто отдыхал, а кто и на грудь немножечко принимал. И однажды у одного пьяненького клюнул самый настоящий сом, а они в волжской глуши под триста кило водились, и утащила рыбина мужика в реку. С концами, как гласила легенда.

Однажды дед Кузьма подарил мне свинцовые грузила для донки. Увесистые капли в форме суповых ложек, с пористой поверхностью от литья в грубой глиняной форме. Подарил сачок для рыбы из толстой длинной ореховой рогатины, концы которой были согнуты и перевязаны намертво засохшим льком. Сейчас такой разве что в краеведческом музее увидишь. Катушки – деревянные дощечки с надрезами на концах, пухлые от лески, белесой от времени и толстой, как проволока. Крючки рыболовные кованые с невидимыми – настолько острыми – «паучьими» жалами, а на другом конце вместо ушка для крепления лески – сплюснутые кружочки. И хоть крючки эти были грубые, размером с детский мизинец, я, даже спустя годы приезжая в деревню, как видел их в самодельной дедовской коробке, так неизменно удивлялся: как такую тонкую вещь можно было кузнечным молотом сработать? А с другой стороны, это какая рыба должна быть простодушная и неприхотливая – на такие жуткие крючья бросаться? Дедова рыболовная снаряга вся была рассчитана не на сегодняшнюю, избалованную полупрозрачными, литыми из желеобразного цветного силикона японскими приманками рыбу, а на чудо-

вищ прошлого – бесхитростных, исполинских. Дед Кузьма рассказывал, как весной идешь на ботнике по устью залива, и вдруг в днище начинает упруго и гулко бить «ду-дуть-ду-дуть-ду-дуть», поднимешься, вынешь из уключины весло, ткнешь рядом с лодкой – стоит, дрожит, шевелится! – в реке воды нет, сплошной стеной рыба на нерест прет!

Помню плетеные лозяные «морды», похожие одновременно и на корзины, и на космические ракеты с острыми носами и соплами, куда заплывает рыба. Помню похожие на баскетбольные корзины рачницы, в которые «заряжали» в качестве приманки насаженных на крюки дохлых ворон. И до сих пор в сарае стоит вечный, неубиваемый, десятилетиями ржавеющий колун для льда – не бур для подледного лова, привычный для современного рыбака, и даже есть уже электрические, а самый настоящий, похожий на палицу или наконечник стрелы стенобитной баллисты, насаженный на палку толстый кованый колун для долбежки льда на реке – маленькими мы с братом его еле вдвоем ташили.

Вот, пожалуй, и все. Немного осталось в моих ящиках и в памяти от деда Кузьмы. А движущийся кадр, как обрезок киноплёнки, затерявшейся на барахолке среди семейных, но уже безмянных фотографий, остался и вовсе один. Однажды я увидел, как дед вышел на изрытую кривой колеей дорогу перед домом и сильным движением стряхнул с вил два серых вялых комочка, похожих на сдутые мячики. Ежй деревенские уничтожали нещадно. Потому что еж в правильном хозяйстве – не тот, кому молочко наливают в крышечку, а вредитель.

Про бабу Машу открыток, что я спас от забвения, осталось больше, но по странности (или женской судьбе?) совсем ничего материального, ни единого артефакта, ни одной тарелки или чашки, в которой бабка могла принести нам ягод, а мы потом забыли вернуть. Нет, ничего не зацепилось. Зато, кроме сцен, кадров, фотографий, в моей голове от огромной жизни бабу Маши осталось несколько фактов, сохраненных памятью как будто для описания героя в рассказе. То, что она так и не побывала за всю жизнь в Москве. Что только раз была в Горьком. А еще баба Маша никогда не пробовала бананы.

В детстве мне часто казалось, что бабушка только телом в нашем привычном мире. Внутри она в другом времени, пространстве, с людьми, которых мы никогда не узнаем. Ее внутренняя неизвестность меня иногда пугала.

– Ма-а чтобы тея тута! Ма-а чтобы тея тута! – кричала баба Маша и размахивала руками, отбиваясь, отталкивая мою или мамину руку. Но

мы боролись. Мы были упорны, когда пытались угостить бабушку специально привезенным из города гостинцем. – Ишь чего надумали! На-ама то! Бабу старую потчевать! Ишь надумали! Не впрок! Не впро-ок!

Что-то приятное для бабу Маши приходилось делать чуть ли насильно, преодолевая нешуточное сопротивление. Это было не кокетство, не стариковская брюзгливость, не частая у пожилых людей скромность и непривычка к ласке. Нет. Это было недовольство проявлением неуместных чувств, желание нарушать установленные границы добрососедства. Теперь мне кажется это очевидным, а что думала по этому поводу моя радушная советская мама, я не знаю.

Не помню, что мы дарили бабу Маше, но попытки сближения хорошо отпечатались в памяти. Когда так остро чувствовалось, что деревенские держат себя отдельно, как с ними ни приятельствуй, сколько на лавочке ни гуторь. Они не мы, они – другие, и городской им если и друг, то точно не брат.

Маленькому мне местные казались представителями иной цивилизации, живущей издревле заведенным бытовым циклом, традициями, самобытным укладом (я застал колодцы: и «журавли», и обычные, с прибитыми медными иконками – в девяностые их все украли, стирку на речке с деревянных мостков, самовары на шашках, сахарные головы), но, главное, и моральный закон у деревенских был свой – то, что городские называют принципами. Например, по какой-то необъяснимой причине местного невозможно было представить у городского в гостях, даже если заглянул ненадолго. Ни баба Маша, ни тетя Надя, кажется, ни разу не были у нас в избе. Возможно, это принижало деревенских в глазах односельчан. Неумолимо наступающий, а с перестройкой и возникновением права собственности хлынувший в деревню город – это деньги, подарки, развлечения, искушения, но поддаваться им деревенские желали далеко не все. К городским относились по-разному. Была и вражда, и надменность, было отношение опасно-вежливое, но почти никогда не было заискивания. Конечно, местные забулдыги, впрочем, те еще гордецы и хитрецы, по избам понаехавших «дачников» (как нас называли за то, что мы не зимовали) еще как ходили. Но «порядочные люди» из деревенских наши дома, ремонты, дорогие машины, сверкающие новенькие мотоциклы и катера обходили стороной. А вот в обратную сторону – дарить городским еду, что для нас было поначалу удивительно и непривычно, но быстро стало приятной обыденностью, – у деревенских засела привычка

крепко. Бесконечные огурчики, помидорчики, капуста и такая и эдакая, бессчетный лук, моркошка, картошка, не говоря уже про зелень, яблоки, малину, а то и яйцами угощали, творожком, мясом, когда в зиму били свинью или теленка. Накормить городского своим, домашним, было как будто обязанностью местных. Денег за огурцы, картошку, яблоки не брали никогда категорически, здесь это за продукты не считали. Продавалось и только продавалось молоко, мед, рыба, грибы – самая твердая валюта в деревне, ну, кроме водки, конечно. Ягоду тоже собирали помногу и часто (клюква, шиповник, земляника, черника), но никогда не продавали, только угощали.

Уже взрослым я восстановил в памяти и осознал, что в девяностые отношения бесцеремонно наступающего города и гордо вымирающей деревни складывались драматично. Хотя кто победит, а кому суждено погибнуть в этом противостоянии, было ясно сразу. По деревне на добрую тысячу домов бегали все лето городские детишки, деревенские отпрыски почти поголовно переехали в город и гуляли там по центральным улицам и набережным с чугунными оградами. Зимой Великовское выглядело как чумное поселение. На редкой улице, занесенной двухметровыми сугробами так, что тропинки напоминали тоннели, дымок курился из одной-двух труб, оставшиеся бабки доживали свой век чудом уцелевшими в пасти времени коренными зубами.

У бабы Маши в гостях я чувствовал то же, что и на лавке, только сильнее. Вроде бы простое дружеское соседство с бабушкой, которая была мне в те моменты ровней, так просто мы разувались, проходили, она усаживала меня за стол, наливала чай, как старичку знакомому. Но я чувствовал скованность, неловкость и ужасно стеснялся, но не самой бабы Маши, а той торжественности, которая шла от дома, его крутой и широкой деревянной лестницы на входе, темных пахнущих сушеным укропом сеней, толстой и тяжелой, как в военных бункерах, только из дерева двери, обитой плотным колючим войлоком. Мы заходили, и внутри дом сиял, как чудо света – белоснежным и нежно-голубым: покрашенные белой масляной краской стены и потолочные доски, на окнах кружевные накрахмаленные занавески, полускрытые небесно-голубыми в белый цветочек шторами, ниже окон стены выкрашены в синий, и только пол традиционно кирпично-рыжего цвета. Изба изнутри – был чистый до стерильности, светлый, парящий в невесомом сиянии паровоз, идущий сквозь гряду высоких, доходящих до неба, белоснежных айсбергов, – так казалось –

настолько высота, простор, многооконность дома делали его непохожим ни на что, к чему привыкал глаз в деревне. Вокруг бескрайние поля, непролазные вековые леса, вымешанные из глины дороги, запечатанные сургучом коровьих лепешек тропинки, палящее солнце, бесцеремонный ветер, дождь, от которого в деревне спрятаться негде, а когда жара, пространство забивает вездесущая пыль. Но вдруг с улицы ты попадаешь в тишину и благодать, здесь – высокий сияющий храм, созданный простым человеком с его представлениями об идеальном жилище.

Мы поднялись в избу, я разулся и пошел на кухню, где дождался и гулко, с шипением, урчал угольками в трубе медный грязно-зеленого цвета самовар. По пути я заглянул в светлицу, краем глаза заметив в левом верхнем углу большой, разросшийся, как спрут, темно-коричнево-серебряно-золотой бабушкин иконостас, где горел крошечный пушистый хвостик лампадки, а вдоль стен я с умилением увидел кровати, бабушкину и дедушкину, высокие, с металлическими спинками и блестящими набалдашниками, покрытые нежно-голубыми тканями покрывалами, с пирамидками (прямо как в старых мультфильмах!) подушек разного размера, от самой большой в основании до маленькой, размером с книжку, наверху, покрытой белой кружевной салфеткой. Выглядели эти сооружения трогательно (кровать, видимо, были очень старыми, я подобных нигде не видел), и я быстро отвернулся, опасаясь подсмотреть что-то личное, интимное. Я задумался: это что получается, баба Маша каждый день кровать разбирает, чтобы спать лечь? И потом понял, что это было что-то вроде экспозиции в личном музее бабушки, а спала она, как в деревне спали и умирали все старики, – конечно же, там, куда вела неприметная лесенка, наверху, за занавеской, на просторной и незыблемо твердой, как крепость, темной, душной, горячей, настолько огромной, в полдома, что даже и невидной за стенками и перегородками русской печи.

На кухне пахло дровами, сажей, прикрытой полукруглой заслонкой печью. Баба Маша с порога начинала хлопотать, сгорбленная, шаркающая, но быстрая, с отточенными до автоматизма в привычном пространстве движениями рук и тела. Качая головой, то и дело приговаривая «ма чтобы тея тута», присказку, которая штампом на ушном хряще отпечаталась на три десятилетия, на всю жизнь, она на удивление легко сняла со стола тяжелый самовар, сняла крышку, надела на трубу специальный сапожок, пару раз пыхнула, раздув задремавшие угли, достала из шкафчика чашки, блюдца, ложки, рас-

ставила все на столе еще ловкими, но – это было заметно, когда посуда касалась стола – подрагивающими от старости, теряющими точность руками, после чего побежала за конфетами, вернулась, перекрестила себя и меня, села...

Чай пили в тишине. Лишь на другом конце дома радостно, но невнятно бормотало радио. Тополей за двойной рамой, несмотря на бодрый летний ветер, не было слышно совсем. Я смотрел на угол стекла, где прозрачный наплыв создавал неровность, и качающийся огромный тополь то и дело налетал на эту стеклянную морщину, похожую на водяной порог ручья, и надламывался буквой Z, но тут же отскакивал невредимый, как ни в чем не бывало.

Торжественную тишину, которую баба Маша по глухоте своей не могла слышать, нарушила ее лучистая улыбка: что не пьешь, мол, али горячо? А ты в блюдец налей! А сахар, нешто в чашку? Нама-то! Вприкуску! Вприкуску чай-ат пьют! И я тянулся к сахарнице, вылавливая неизвестно откуда взявшийся в двадцать первом веке плотный белый неровно наколотый сахар. Или варенья тебе? Ешь! Ешь, карас! Тебе расти... И я тянулся потемневшей серебряной ложкой к вазочке из толстого посеребрившегося от времени стекла – за комочком густого засахаренного клубничного варенья.

Я стоял и смотрел на бабушкин дом и вдруг засомневался, но нет, нет, все правильно помню. Фамилия бабы Маши – Сорокина. В большой деревне, как ни странно, основных фамилий не так много, это очень запутанные и разветвленные древа, рассеивающие по разным уголкам Великовского Молочковых, Тебякиных, Покатиных и вот Сорокиных. Видно, когда-то при царе в суровом каторжном поселении Великовском (я читал однажды про это) положили начало этим родовым фамилиям крепкие зажиточные крестьяне.

Соскользнув с дороги, я двинулся к дому бабы Маши, пытаюсь понять, где именно рос клен, высккивая в траве остатки лавочки – может быть, торчат еще полусгнившие столбики... Где она сидела? Где мы сидели? Относительно дома – где-то здесь, напротив палисадника, через тропинку. Или... чуть ближе к крыльцу? А где же клен? Когда не надо, растет, как дурной, забивает вокруг все пространство, вырубать замучаешься. А когда надо, вот и нет его, как ни шумел. Дороги старой, с разъезженной петляющей колеей да разбухшими лужами, давно нет. На костях ежиков, которых сбрасывал сюда дед Кузьма, проложена трасса – до Михайловского, а там паром через Волгу на Чебоксары. По

бокам дороги насыпь из щебня, а за ней бурьян, за которым, как за волнами океана, деревянный бабы-Машин корабль без команды и капитана рассекает толщу подступающих лет.

Остановился перед калиткой. Так подходят к давно заросшей могиле или заброшенной церкви, с почтением и боязнью нарушить чужое торжественное одиночество. Через щели толстых досок крыльца зелеными язычками пламени пробивалась острая травка. Черный от ржавчины амбарный замок не висел, а торчал бородкой домового. С замирающим сердцем я мысленно поднялся по скрипнувшей лестнице за дверь, повернул направо в избу и тут же, в прихожей, увидел цилиндрической формы, стянутый крашеным черным металлом подтопок, напоминающий офицерское галифе. Впереди была кухонка, но, чтобы разуться, я посмотрел под ноги и с подступившей к горлу теплой волной восторга узнал толстые половики, вязанные бабкой из разноцветных тряпок, круглые, как бублики, с дырками в центре. Я поднял глаза и увидел за столом на кухне тонкого, сутулого, с запавшим животом мальчика. А напротив бабу Машу, которая тут же вскочила к зашипевшему самовару с криками: «Ма чтобы тея тут! Ма чтобы тея тут! Что старуха наделала!»

Очень скоро после этих чаепитий мальчик рванул, вытянулся из подростка в юношу, жизнь закрутила быстро, жестко. Стало совсем не до деревни, ее размерности и пасторалей. Пару раз лет за пять я приезжал, видел бабу Машу, сидели, болтали, но чаевничать в дом не ходили. Ей тоже, наверное, было неловко такого детину, пахнувшего городом, новыми шмотками, модным дезодорантом, в свои «палаты» вести.

Жизнь моя полетела стремительнее, дальше, выше, без ставшей маленьким островком детских воспоминаний деревни. Раз в несколько лет я то приезжал в Великовское с девушкой, то с пацанами пригонял на машинах. Пили до утра, гуляли, плясали, горлопанили. Бабушка не старела, не менялась. Видел ее мельком, сидела все там же. Подходил редко.

Пока однажды не приехал и не увидел случайно, как бабу Машу вела в дом заметно подряхлевшая тетья Надя – медленно вела, бабка еле ноги передвигала. Смотрела баба Маша перед собой глазами пустыми, равнодушными. А половина лица была у нее синяя. Возраст. Старость. Силы стали покидать бабу Машу. И стала падать.

Через пару дней сидела у дома, «гуляла». Я подошел, поздоровался, присел рядом... И вдруг понял,

